Cahiers du
MONDE RUSSE

Cahiers du monde russe

Russie - Empire russe - Union soviétique et États
indépendants

50/1 | 2009

Écrits personnels. Russie XVIII^e-XX^e siècles

Dnevnik sovetskoj devuski (1968-1970) : privatnoe i ideologiceskoe

Irina Savkina

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/monderusse/9158>

DOI : 10.4000/monderusse.9158

ISSN : 1777-5388

Éditeur

Éditions de l'EHESS

Édition imprimée

Date de publication : 31 mars 2009

Pagination : 153-168

ISBN : 978-2-7132-2259-7

ISSN : 1252-6576

Référence électronique

Irina Savkina, « Dnevnik sovetskoj devuski (1968-1970) : privatnoe i ideologiceskoe », *Cahiers du monde russe* [En ligne], 50/1 | 2009, mis en ligne le 01 janvier 2009, consulté le 09 septembre 2022. URL : <http://journals.openedition.org/monderusse/9158> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/monderusse.9158>

Tous droits réservés

ИРИНА САВКИНА

ДНЕВНИК СОВЕТСКОЙ ДЕВУШКИ (1968-1970):

ПРИВАТНОЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ

Исследователи, говоря о дневнике как жанре, как правило, выделяют следующие его свойства: искренность, исповедальность, свобода самовыражения, отсутствие ретроспективного взгляда на события, неадресованность и непредназначенность для публичного восприятия.

Однако вопрос о том, в каком смысле и до какой степени можно говорить об искренности и свободе автора дневника (как и других эготекстов) в последнее время стал предметом дискуссии. Например, Сидония Смит пишет о перформативности автобиографического *Я*, в процессе «разыгрывания» которого большое значение имеет не только субъективное намерение и желание автора, но и воздействие существующих в данном социуме и культуре дискурсов идентичности¹. Огромную роль при этом играет адресат текста, публика. «Под публикой понимается сообщество людей, для которых главные дискурсы идентичности и правды имеют смысл. Публика становится экспертом определенного сорта перформативности, который подчиняется относительно удобным критериям понятности (вразумительности)»².

Марго Калли говорит практически о том же применительно к дневнику. «Присутствие мысли о публике в этой форме письма, как и во всех других, имеет решающее влияние на то, о чем и как говорится. Друг, возлюбленный, мать, Бог, будущее *Я*, – какие бы роли не присваивались автором адресату, присутствие последнего становится влиятельным *Ты* для диариста. Оно офор-

1. Sidonie Smith, "Performativity, Autobiographical Practice, Resistance," in Sidonie Smith and Julia Watson, eds, *Women, Autobiography, Theory: A reader* (Madison WI: University of Wisconsin Press, 1998), p. 109.

2. Smith, "Performativity, Autobiographical...", p. 110.

мляет отбор деталей внутри журнала и способ конструкции *Я* (self-construction) diarиста»³.

Фелисити Нуссбаум полагает, что и дневниковые тексты можно читать «как модели сигнификаций, как лингвистические репрезентации, происходящие из различных дискурсов, имеющих в распоряжении в определенный исторический момент»⁴. *Я* дневника, как и любой автор текста, – *locus*, место пересечения, диалога или конфликта дискурсов.

В данном сообщении я предполагаю обсудить, как, на пересечении, в диалоге, в конфликте каких именно дискурсов осуществляется самоописание и конструирование *Я* (самости) в дневнике обыкновенной советской девочки/ девушки конца 60-х - начала 70-х годов. Как влияет на приватный рассказ о себе и своей жизни (или – может быть, как «управляет» самим процессом такого рассказывания) идеология, советский дискурс, идеологические и культурные мифы и риторика советскости?

Разумеется, когда мы говорим о «дневнике советской девушки», важно ставить акцент равномерно на обеих частях определения (и *советской*, и *девушки*), потому что дневник *юного человека* обладает своей возрастной спецификой и, кроме того, свои особенности имеет и женский, девичий дневник⁵.

Одной из важных для нашей темы специфических черт последнего является его активная адресованность, существование на границе приватного и публичного. Девичий дневник напоминает любимую девочками игру *в секретники*, когда где-нибудь в потайном месте двора под цветным стеклышком захоранивается в земле созданный из разной пестрой мишуры «секрет», который должен быть тайной, но смысл создания которого в то же время состоит и в том, чтобы предъявить его избранным, как правило, лучшей подруге, поделиться в ней тайной⁶. Аналогичным образом хранящиеся в потаенных местах девичьи дневники (или избранные места из них) часто читаются подругам или подругами.

Но в дальнейшем, говоря об адресате, я имею в виду по преимуществу не таких реальных читателей и не автоадресацию, автокоммуникацию. Адресованность дневника проявляется и в другом, в наличие некоего незримого контролера, цензора, высшей инстанции, на которую автор дневника постоянно оглядывается в процессе письма. Эта та незримая,

3. Margo Culley, "Introduction to A Day at a Time: Diary Literature of American Women from 1764 to 1985" in Sidonie Smith and Julia Watson, eds, *Women, Autobiography, Theory: A reader* (Madison WI: University of Wisconsin Press, 1998), p. 218.

4. Felicity A. Nussbaum, "Toward Conceptualising Diary," in James Olney, ed., *Studies in Autobiography* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1988), p. 12.

5. Cf. С. Борисов, *Культурантропология девичества*, Шадринск: Издат. Шадринского пединститута, 2000, р. 60-61; И. Савкина, *Девичий дневник – чужое и свое: Дневник Анны Олениной*, т. ж. самое, *Пишу себя: автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века*, Тампере, 2001, р. 104-120.

6. Cf. Борисов, *Культурантропология...*, р. 10 ; М. Осоргина, *Секретный мир детей в пространстве взрослых*, СПб., 1999, р. 142-148.

неперсонифицированная «экспертная группа», недреманное око, невидимый «суд присяжных», кому автор дневника делает признание и от кого хочет получить признание. Особенно это характерно для дневников, которые строятся как автодидактический текст.

Подобная разновидность дневника известна давно. В России она получила довольно широкое распространение в конце XVIII – начале XIX века. Л.Я. Гинзбург, анализируя дневник В.А. Жуковского как образец произведения подобного типа, связывает популярность такой дневниковой формы с влиянием протестантской религиозно-моралистической литературы и масонства, более конкретно – книги Ивана Масона «Познание самого себя», переведенной в 1783 году И.П. Тургеневым, которая предлагала целую программу упражнений по самонаблюдению и очищению души⁷. Дневник Жуковского, по мнению Л. Гинзбург, прежде всего дневник самонаблюдения и сопоставления своего *Я* с неким всеобщим и всегда себе равным идеалом чувствительного и добродетельного человека.

Подобная автодидактическая традиция очень сложно и своеобразно трансформировалась в советском контексте.

Олег Хархордин, изучая наиболее распространенные практики самоанализа и самовоспитания советского человека, замечает, что они сформировались на основе покаянных практик самопознания, характерных для восточного христианства. Именно обличение, критика, покаяние перед лицом коллектива, публичное обсуждение персональных качеств человека в специальной ситуации чистки или позднее в ее рутинизированных версиях (Ленинский зачет для школьника и т.п.) и были способами формирования советской идентичности. Знание российского индивида о себе складывалось как результат выявления и обсуждения его очевидных дел и достижений релевантной группой. Обличаемый или перманентно приуготовляемый к процедуре обличения человек мог заранее поработать над собой – через подражание образцам, через самоформирование и самопланирование⁸. Вышеназванное становится практиками повседневности, дискурсивным фоном, который незаметен и потому вездесущ.

Все эти предварительные замечания, как мне представляются, окажутся полезными и важными при рассмотрении нашего материала.

Дневник, о котором пойдет речь, вела обычная советская девочка-девушка Ирина Холмогорская, в 1968-1975 годах. В 1968-1970 она училась в средней школе г. Вологды, а с 1970 по 1975 – на филологическом факультете Ленинградского госуниверситета. Дневник представляет собой 10 общих тетрадей, записи в которых ведутся не ежедневно, но более-менее регулярно. В настоящем сообщении я остановлюсь только на первой, школьной части дневника, занимающей 4 общие тетради. Первая запись

7. Cf. Л.Я. Гинзбург, *О психологической прозе*, Л.: Сов. Писатель, 1971, р. 38-40.

8. Cf. О. Хархордин, *Обличать и лицемерить: Генеалогия российской личности*, СПб.-М., 2002.

датируется «9 августа 1968 года», в последней записи четвертой тетради от 24 мая 1970 года говорится о последнем школьном звонке. В момент ведения дневника Ирине 15-16 лет.

Немного об авторе дневника. Это довольно «типичная» советская девочка, в том числе, и по своему «социальному происхождению», как писалось в советских анкетах. Ее бабушки и дедушки – выходцы из северной деревни (Вологодская и Архангельская обл.). И тот, и другой дед – сельские коммунисты, которые сделали в советское время небольшую карьеру, стали начальниками среднего звена. Бабушки же до старости лет остались малообразованными, «простыми» женщинами. Родители ее – горные инженеры, первые и в том и в другом роду люди с высшим образованием. С начала 60-х до 1968 года семья жила в ГДР, где отец работал в советско-германском обществе «Висмут». Советские специалисты жили небольшой и относительно замкнутой колонией с довольно высоким уровнем материального достатка, развитыми разнообразными формами организованного коллективного досуга. Там отсутствовало социальное расслоение и, разумеется, была правильная идеологическая атмосфера, по крайней мере, на том внешнем уровне, который был понятен и доступен детям. Летом 1968 года семья вернулась в Советский Союз, отец получил работу на Украине, но из-за временной неустroенности быта мать и дети (три девочки) какое-то время жили у бабушки, в Вологде. Потом мать и сестры уехали, а автор дневника, Ирина, упростила оставить ее в Вологде и жила там, в доме бабушки и дяди два года до окончания средней школы. Эта преамбула нужна потому, что в некоторой степени объясняет идеологическую зашоренность и инфантилизм нашей героини. Она была в некотором роде гомункулом, выращенном в насыщенном советском бульоне (похожими были дети из закрытых городов, космических городков типа Ленинска).

Писать свой дневник она начинает в ситуации резкого жизненного перелома: смена страны, города, школы, условий жизни (бабушка с дядей живут в материальном отношении очень скромно), отрыв от родителей, – все происходит одновременно. Ситуация порождает ощущение кризиса, страшного одиночества (все первые страницы дневника переполнены записями про ожидание и получение писем от оставшихся вдалеке старых друзей). События, которые фиксируются в дневнике, – самые обычные для жизни советской школьницы: уроки, поездки в колхоз, комсомольские собрания, огоньки, вечера, участие в молодежной редакции при местной комсомольской газете, поездка в трудовой летний лагерь, книги, фильмы, подруги, первая любовь и пр.

Дневник очень личный, приватный в том смысле, что в высшей степени эгоцентричен, сосредоточен на выяснении отношений со своим Я. Напряженная саморефлексия мотивирована ситуацией одиночества, отсутствия поначалу друзей, трудностями адаптации в новую среду. Этот «сюжет» развивается по двум линиям: самоапология и самобичевание с последующим самовоспитанием.

На звучащий лейтмотивом вопрос: *почему я одна, почему меня не понимают?* предлагается два конкурирующих ответа, которые, если упустить вариации и оттенки, сводятся к следующему: *они не понимают меня, потому что я слишком хороша для них; и – они не понимают меня, потому что я слишком плоха для них, недостойна их дружбы, и мне надо исправлять себя и становиться лучше.*

События внешней жизни, конкретные приметы времени появляются, конечно, на страницах, но не так часто. То в разговоре на пляже собеседница говорит, что

в Чехословакии теперь все спокойно (23.08.68) <...> то упоминается, что на школьный вечер некто продвинутый принес музыку битлов, а никто не понял. Требовали такую музыкальную пошлость, как «Лада» и «Электричка». Что у нас в школе за вкусы. Ничего нового не принимают, как старые бабки. (5.11.1969)

Время от времени упоминаются китайцы – главный образ врага – то со страхом («вдруг нашим мальчикам придется воевать?»), то иронически:

учительница обществоведения, объясняя классовую сущность мировоззрения, написала на доске «*Рабство вечно*». «*Бог создал человека*», а одна одноклассница говорит: Вот сфотографирую и пошлю китайцам – чему в советской школе учат. (1.09.1969)

Но все же в основном дневник заполнен разговорами о себе, самопризнаниями и самоуличениями. Однако самые приватные, лично значимые вещи обсуждаются с помощью тех идеологических схем и понятий, которые услужливо поставляются господствующим (советским) дискурсом. Так ключевыми концептами для проговаривания и прописывания самой болезненной и личной проблемы – отчаянного одиночества, непризнанности становятся идеи и понятия коллективности, братства, большой семьи, которые в высшей степени важны для советского мифа⁹, но здесь еще приобретают характерные для шестидесятых годов черты «романтики»: вместе куда-то ехать, что-то там открывать, делать трудное дело, петь у костра, жить сообща, дружной семьей¹⁰. «Чем хорош колхоз? Вернее колхозная жизнь. Все вместе. Как в семье. Колхоз сдружает» (6.09.68). Можно увидеть в дневнике постоянную зависть к этим мечтаемым, гипотетическим братским сообществам. Так долгий шлейф восторгов вызывает знакомство с ребятами из отряда «Алые паруса» клуба «Романтики», которые все поголовно собираются поступать в геолого-разведочный. Один из делящихся сюжетов – участие в молодежной редакции при комсомольской газете, которая рождается из ностальгии ее инициаторов по существовавшему когда-то в начале 60-х клубу «Гренада». Вымечтанные идеальные отношения в школе, среди одноклассников (не

9. Cf. например, К. Кларк, *Советский роман: история как ритуал*, Екатеринбург : Изд. Уральского университета, 2002.

10. Cf. П. Вайль, А. Генис, *60-е. Мир советского человека*, М.: Новое литературное обозрение, 1996. (Гл. Дорога никуда. Романтика.)

имеющие ничего общего с реальностью) описываются словами популярной песни: «Одноклассники-однокашники и ровесники, и друзья. Мушкетерскому братству нашему по-мужски буду верен я». Запись от 9.09.1969 содержит подробное описание публичного диспута в клубе железнодорожников «Называться человеком – легко, быть человеком трудно»:

Сначала показали фильм «Улица надежд» о ребятах, которые строят на Таймыре поселок Светлый. Так здорово там у них, позавидуешь. Конечно, сразу мечты – махнуть на стройку и т.п. Идея этого фильма (ее высказывает один из героев): «Я уверен, что молодежь поедет туда, где трудные условия. Многим хочется испытать, чего ты стоишь да и стоишь ли ты вообще чего-нибудь».

Мечты «махнуть куда-нибудь на стройку» или «пойти на завод» несколько раз звучат в дневнике – в качестве рецепта от одиночества.

При этом нельзя говорить здесь о влиянии каких-то определенных книг, романов героев или сюжетов. Читает автор дневника совсем другие тексты, которые вряд ли могут спровоцировать подобные настроения и дать образцы выспренно-романтического стиля: «Анну Каренину» и «Воскресенье» Л. Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, повести Чехова, «Траву забвения» Катаева, «Журналистов» Берггольц, «Литературные портреты» М. Горького, Лермонтова, Бунина, раннего Маяковского (это то, что непосредственно названо в дневнике). Никаких Н. Островских и Фадеевых или молодежной прозы с ее «звездными билетами» не упоминается. Разве что мелькают имена Евушенко и Рождественского. Речь должна, вероятно, идти не об ориентации на определенные тексты, авторов или героев, а о власти дискурса: газетно-радио-телевизионно-плакатная советская культура, идеология, распыленная в воздухе, предлагает образцы и модели поведения, в том числе и модели для строительства идентичности.

Здесь мы видим те практики «работы над собой», самоформирования и самопланирования, о которых писал О. Хархордин. В постоянных счетах и самоотчетах: что во мне хорошего, что плохого, от чего я должна в себе избавиться и пр., присутствует модель идентичности, трафарет «настоящего комсомольца», с которым надо стремиться совпасть. Надо воспитывать в себе сдержанность, скромность, умение жить коллективе, понимать других, цельность, последовательность, трудолюбие; кроме того

настоящий комсомолец должен быть честным – в главном, в убеждениях, в вере. Здесь надо быть честным до конца и не уступать ни йоты своих принципов <...> Какие в книгах были комсомольцы! Чистые, чудные. Неужели сейчас все измельчало, неужели комсомол перестал быть святым и великим, тем, что тебя должно обязывать быть чище, лучше. (5.10.1968)

В записях дневника много хлопот вокруг этого *настоящего комсомольца* и приема в комсомол, который, по мнению автора дневника, перестал быть

испытанием (то есть своего рода актом инициации) и превратился просто в пустую формальность. Со вздохом описывается такая картинка с натуры о заседании комитета комсомола:

Ну и анкеты: из 15-ти 13 такого содержания «Я, такой-то, такой-то прошу принять меня в комсомол, так как хочу быть в передовых рядах строителей коммунизма». Задаем вопрос: «Как лично ты собираешься строить коммунизм?» – «Как все» «Что такое коммунизм?» – «Это, где нет капитализма». «Кто твой любимый писатель?» – «Маяковский». «А что он написал?» – «Кем быть?». (04.02.69)

Однако надо сказать, что эта наивная и запоздалая вера в содержательность ритуалов, которые давно уже формализовались и превратились в формы игры, официального лицемерия, длится не так уж долго. И уже 20.11.1969 читаем в дневнике: «Бюро и комитеты комсомола – сплошная фикция» (20.11.1969).

Но надо отметить, что дело не только в том, что автор дневника постепенно взрослеет и умнеет, и потому ее взгляды меняются. Уже с самых первых записей дневника моделирование самости происходит отнюдь не только с помощью заталкивания себя в правильный, обструганный ящик с надписью «настоящий комсомолец». Наряду с дисциплинированным желанием быть такой, как «должно», происходит и своего рода постоянный «бунт» против коллективистской, деперсонализированной модели личности, потому что, пожалуй, самое акцентированное желание во всех саморефлексиях – это жажда «быть собой», быть не такой, как все, нормальное подростковое желание выделиться, смертный страх быть похожей на других. Постоянно, как заклинания, повторяются обращенные к себе призывы:

главное самобытность, быть самим собой. Только собой, всегда собой, яркая индивидуальность, только не серость, только не таким, как все. (7.09.69)

Интересно, что высказанное вслух, публично это соображение не вызовет одобрения у представителей той «релевантной группы», которая в сущности и является незримым адресатом всей советской риторики дневника. Дело происходит на диспуте, о котором упоминалось выше (отчет о нем занимает 12 страниц).

Другой дядечка: «Я вообще не знаю, зачем спорить об идеальном человеке, все основные его черты сформулированы в моральном кодексе строителя коммунизма» <...> Я: «Я вот несогласна, что идеал человека сформулирован в моральном кодексе, это какие-то общие принципы для всех, но весь у каждого должен быть свой конкретный идеал. Я лично считаю, что в человеке главное Личность, индивидуальность и т.д.» Некто блондин с блокнотом обвинил меня в анархизме и просил объяснить, что я понимаю под индивидуальностью, самобытностью. <...> Я объяснила, что это значит иметь всегда собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением других <...> Тогда он сказал, что у меня желание любым способом выделиться: все идут по тротуару, а я, индивидуальность, – пойду по мостовой. И потом зачем презирать толпу. Ведь

коммунизм будет строить толпа. На что я парировала, что я считаю, что коммунизм, – это содружество равных индивидуальностей. (9.09.1969)

Отмеченная О. Хорхординым в качестве способа самоформовки советского человека работа над собой через подражание образцам, присутствует в дневнике (тема, «кто мой идеал» возникает не раз и не два), но интересно, что главные «кумиры» – не Павел Корчагин, например, или кто-то в этом роде, а Лермонтов и ранний Маяковский. Остро переживаемое одиночество, чувство избранности (подростковый мессианизм), гиперэмоциональность их лирических героев, вероятно, делает их подходящими моделями самоидентификации. Отвечая на страницах дневника на вопросы так любимых девушками анкет, Ирина называет своими любимыми героями Печорина, Раскольникова и Ивана Карамазова.

Эта противоречивость, метание между «дисциплинированным» хотением быть правильной девочкой и настоящей комсомолкой и «бунтарским» желанием быть индивидуальностью, самой собой, говорить и делать «поперек», характерна для этого дневника на всем его протяжении. Эта противоречивость заметна и на уровне стиля. Зоны относительного освобождения от насилия дискурсом во многом связаны с темой обсуждения: записи о друзьях, мальчиках, первой любви и т.п. сделаны по-другому, другим языком, чем вербальные самобичевания и акции самовоспитания по типу «я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше». Когда Ирина, прочитав в «Комсомольской правде» статью о дневниках Толстого, пытается по примеру последнего подробно описать свой обычный день, в этой записи (и по содержанию, и по форме) практически отсутствует идеологическое и риторическое напряжение: стилистически нейтральным языком описывается рутинная скука уроков, на которых наша героиня болтает с соседкой, читает книжки, вырезает на парте благоглупости, на переменах швыряется вместе со всеми губкой. Когда нечаянно этой губкой ей

попадают по башке, настроение резко меняется. Не могу смотреть без отвращения на эти тупые, глупые, самодовольные рожи. Появляется довольно странное чувство, которое трудно смирить: хочется бить их и бить по этим наглým рожам.

Учителей в этой записи она называет *Катькой* и *Костей*, замечает, что они «орут и напрягают», что «на литературе высасываем проблемы из пальца». Из этой же записи узнаем:

Бабушка извелась с этими покупками, уроков почти нет. Играю чуть-чуть в куклы. Читаю Антологию советской драматургии, <...> за чаем говорили о спорте... (16.05.69)

Но все же эти моменты относительной свободы письма – острова в океане власти господствующего дискурса, власти по принципу «повелевать и

наказывать». Ощущение адресата-цензора появляется вновь и вновь, это замечает собственно и сам/а автор.

Странно, но мне все время кажется, что я пишу все это для кого-то и надо сравнения получше и мысли поизыщней, повесомей, о международном положении, например. А о себе самой, какая есть (не очень хорошая) писать даже как-то стыдно. Такие паршивые мысли бывают иногда (12.08.68) <...> опять для кого это я пишу, для какого-то дяди, который, прочитав эти строчки, скажет, что я самокритичная. Я сама так думаю? (26.09.68)

После ссоры с сестрой:

Слушай, кончай корчить из себя добродетельную, как будто в надежде, что она прочтает. (2.01.69)

Кроме того, есть еще один адресат, осознаваемый автором, который, в общем-то, является иным воплощением все того же эксперта и контролера, – это потомки. Сознание, что человек должен жить (и писать дневник) не в личном, а в историческом времени, заставляет фиксировать исторические события и приличные этому событию чувства.

Вечер прошел хорошо. Торжественную часть, правда, завалили, а танцевали весело. Да что это я первым делом о танцах-то, ведь 25.10 комсомолу вручили шестой орден – орден Октябрьской революции. Ура! И еще 25-го же полетел в космос еще один советский космонавт. (26.10.68)

Кто и когда полетел в космос, – это старательно фиксируется в качестве новостей «мирового масштаба»:

что стыковка Союза-4 и Союза-5 была произведена, совсем-совсем забыла написать (это уже для потомков). (26.01.69)

(Предполагается, вероятно, что у потомков не будет иного источника информации, кроме данного дневника!)

Кроме информации о полетах в космос и стыковках на орбите, для потомков надо записывать про всякие советские юбилеи – как-то 100-летие В.И. Ленина или 50-летие ВЛКСМ, потому что

об этом дне, о вручении ордена будут писать в учебниках. Наши внуки и правнуки нас уже изучать будут. У нас в Вологде был страшно плохо организованный митинг. После митинга гуляли, песни пели, словом, праздновали. Хотя такой день мог пройти гораздо торжественней. (3.11.68)

После почти свободных от «советизмов» и клише записей о лете в лагере, первой любви, отношениях с друзьями, очередной «приступ» идеологического мракобесия наблюдаем в записи, посвященной столетию В.И. Ленина:

Великий день. Будут изучать по истории, да у нас в билетах уже стоит вопрос. Так что день исторический. (Дальше идут неумеренные дифирамбы) самому

человечному (и) самому пронизательному <человеку и мечты> хоть бы раз послушать, как он говорит или увидеть. Неужели когда-нибудь будет общество, где все люди будут такими, как Ленин? По-моему, это невозможно. <...> А все-таки Ленин для всех дорог. Даже человек так себе, а то и вовсе дурак, но Ленина все-таки уважает, все-таки любит. Конечно, сегодня все заводы нормы перевыполнили, а у нас в классе – просто позор <...>. В самом стремлении быть похожей на Ленина есть что-то возвышающее и очищающее. Я все-таки постараюсь прожить жизнь честно и никогда не быть равнодушной. У нас несколько уже затерли значение слова «коммунизм». А ведь это истинное счастье. А поэтому посвятить жизнь борьбе за коммунизм, значит, идти к счастью. <...> Как непростительно мало я знаю о Ленине. Стыдно, ужасно стыдно. Зря мне поставили Ленинский зачет. (22.04.70)

Кончается эта запись словами: «Ой. Как высокопарно все получается: клятвы и восклицания!»

Вообще надо отметить, что присвоение идеологии через дискурс, через чужое слово, которое притворяется своим, до какой-то степени ощущается и самим автором дневника, то есть, она видит зазор между собой и этим «чужим» словом. Об этом свидетельствуют такие примечания:

зачем врать себе (16.09.68) <...> А не вдарилась ли я в дидактику? Действительно ли я так думаю? (5.10.68) <...> ах, какая сентиментальность (21.11.68) <...> как-то риторически получается (26.01.69) <...> написала, как всегда доверительно-фамильярно (29.01.69) <...> все звучит как-то морально, как-то пошло и неправдоподобно. (4.02.69)

Про риторические восклицания, инверсии, многозначительные многоточия, пафос, сентиментальный надрызг – всякие «долгой!» и «даешь» сама она пишет: «выражаю свои мысли слишком книжно, будто передовицу пишу, плохую передовицу» (5.10.68).

Дневник не воспринимается автором как абсолютно интимное пространство:

Я давно ни с кем не говорила, не с кем поговорить. Другие на моем месте говорят в дневнике с самим собой, а я вот не могу, Дневник мой – просто перечень фактов, а не исповедь и не друг. (5.03. 1969)

В оценке значения и смысла ведения дневника превалирует категория полезности, функция самовоспитания:

Совсем забросила дневник. Он не вырабатывает у меня усидчивость, а скорей наоборот (27.03 69) <...> Год веду дневник. Не знаю, насколько это полезно. (24.08.69)

Конечно, это не значит, что приватное, интимное в дневнике отсутствует или присутствует только в опосредованных властным, советским дискурсом формах, о чем говорилось выше. Безусловно, в тексте есть и то, без чего не обходится практически ни один девичий дневник – записи о доверительных разговорах или ссорах с подругами, о «мальчиках», мечты о любви и пр. Однако и эти страницы заполнены с оглядкой на недремлющего

идеологического соглядатая, перед которым надо оправдываться и мотивировать право писать о «глупостях», «пошлостях» и «сплетнях».

Не знаю, стоит ли писать, это так незначительно, но меня это волнует. Касается что ли. Вот уже сколько времени мне не нравится ни один мальчишка. Для меня это совсем ненормально (1.02.1969) <...> Можно раз в неделю поглупить? Можно, наверное. Сейчас буду писать «про это» (далее следует список – кто из приятельниц с кем «гуляет») (21.04.1969) <...> черт возьми, все стали взрослыми, одна я осталась, как дурочка. А честно, страшно хочется в кого-нибудь влюбиться. (8.01.69)

Отношения с мальчиками – жгуче важная тема, но записи о ней, особенно вначале, все время сопровождаются самопропросом – не «пошло» ли, не «развратно» ли стараться понравиться, каким-то образом демонстрировать мальчику свои симпатии – как там с девичьей гордостью, будут ли тебя уважать после этого? Пример Татьяны, которая первая написала письмо Онегину, входит в противоречие с «кодексом девичьей чести», которую блюдет не только «комсомол», но и бабушка. «Неужели привлекательность в развязности и пошлости? Не буду, не буду, не буду такой!!!» (12.02.69). Тут же рядом под «грифом» пошлости – вопрос о курении и выпивке – он обсуждается очень бурно.

Вчера Валька со Светкой курили по дороге в клуб. Какая пошлость! И парни все чадят. <...> Стала подседать к мальчишкам и читать им лекции о вреде курения (04.09.68) <...> Гады мальчишки пришли на вечер пьяные <...> никакой силы воли и не то что уважения к другим, не проблесков самоуважения!

После гневных тирад по этому поводу следует замечательное примечание – «правда я лично узнала об этом (о том, что ребята были выпивши) только после Огонька» (26.01.69). Когда начинается первая любовь в трудовом лагере, и долгожданный избранник не всегда бывает по-комсомольски кристально трезв, то, хотя муки по этому поводу будут время от времени возникать: «а ведь унижаю я себя, когда разговариваю с пьяным. Это же я опускаюсь» (12.07.69), это, однако не помешает развитию романа. И вообще в этом вопросе (как и во многих других) ей приходится лавировать между мнением двух «референтных групп»: идеологической инстанцией, которая требует «правильного поведения» и мнением ровесников, которые эту правильность не одобряют и, чтобы стать своей, быть признанной ими, надо соответствовать иным критериям. Так как автору дневника важно получить признание и у той и у другой, то приходится как-то изворачиваться.

Вечером ходила к Але. Девчонки пили, а я нет. Сказала, что поспорила с одним хорошим человеком на честность, что до 25 лет пить совсем не буду. Ни с кем я не спорила, но даже сама в это поверила. (9.03.69)

Но есть ли все-таки в дневнике места, где говорится о своем, приватном и «своим» голосом, без оглядки на того, кто «надзирает и наказывает»?

Идеологическое напряжение ослабевает и почти сходит на нет в записях об истории первой любви – с первыми касаниями, первыми объятиями, после которых температура поднимается до 40 градусов, с первыми поцелуями в кукурузе. Здесь даже появляется чувство юмора, почти напрочь отсутствующее в записях «для потомков». Вообще именно телесные практики и их описание – это пространство максимальной свободы, как это ни парадоксально, потому что вышеназванное – пожалуй, наиболее табуированная для девочки/ женщины тема.

Феминистские критики (в частности Люс Иригарей) говорят о том, что жестикуляцию тела женщины можно видеть в страдании, в описании болезненных состояний; через телесный жест, так же, как в симптомах и в молчании обозначает себя какой-то невозможный, табуированный язык¹¹. Как замечает Зигрид Вайгель,

речь здесь идет о другом способе письма, который дает пространство языку тела, не уничтожая вербальный язык, способу письма, который не отсекает артикуляции и восприятия тела, но и не застывает в бессловесности¹².

Исследование женских и девичьих дневников начала XIX века, которым я занималась ранее, подтвердило это наблюдения: там действительно язык желания «прорывается» в разговоре о болезни, страдании, одежде (которая становится своего рода «псевдонимом» тела), красоте/некрасивости, в разного рода оговорках и проговорах, разрушающих выстраиваемый с оглядкой на идеологические и культурные конвенции своего времени образ Я.

В девичьем дневнике, о котором идет речь в этом сообщении, нет описаний болезни, телесных страданий, нет практически разговора об одежде и моде, не много суждений о внешности – своей и чужой. Телесность, язык желания здесь можно увидеть в других модификациях – речь идет не о страдании, а, напротив – о чистой телесной радости, о наслаждении – через танец, движение, касание, чувственный контакт с природой.

Про танцы упоминается многожды, и интересно, что часто внутри идеологически насыщенных отрывков. В записи от 6.01.69 рядом с инвективами о пошлости, – «ну и, разумеется, вытанцевалась... попрыгала на шейке вдоволь». В уже также цитировавшейся записи от 26.10.68 важно обратить внимание на последовательность:

Вечер прошел хорошо. Торжественную часть, правда, завалили, а танцевали весело. *Да что это я первым делом о танцах-то*, ведь 25.10 комсомолу вручили шестой орден....

11. Cf. Luce Irigaray, *Das Geschlecht, das nicht eins ist*, Berlin: Merve Verlag, 1979, p. 140.

12. Sigrid Weigel, *Die Stimme der Medusa: Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen*, Dülmen-Hiddingsel: Tende, 1987, p.117. Вайгель сближает эту проблематизацию языка в дискурсе болезни и истерии с понятием «субъект в процессе» («говорящий субъект») Юлии Кристевой. Этим термином Кристива обозначает двойственный, расщепленный субъект, который зависит от *символического* порядка, где он существует и говорит, но одновременно и сопротивляется ему" (Weigel, Sigrid, *op. cit.*, p. 117).

Посреди патетических восклицаний в честь столетия Ленина тоже рассказ, как прекрасно потанцевали на его дне рождения. Причем речь идет не о парных танцах с эротическим подтекстом, а о танцах «в кругу», когда каждый танцует сам. «Мне, когда мне очень хорошо или очень плохо, надо вытанцеваться до упаду.» (8.07.69)

В рассказах о мальчиках тщательно фиксируются все касания, любой тактильный контакт.

Я совсем развратилась, разве раньше я могла бы так стоять, Олег стоял сзади меня (когда играли в «третий лишний») укутал в свою фуфайку, обнял и положил мне голову на плечо и мне было очень хорошо, хотя мы с ним только одноклассники. И все-таки хорошо. (7.09.68)

Первая любовь описывается, прежде всего, через перечень взглядов и прикосновений. Несмотря на весь напряженный трагизм ситуации (потому что на самом деле у мальчика Паши есть «постоянная девушка» и создается «любовный треугольник»), размышления о ней то и дело прерываются описаниями беспричинной телесной радости.

Он ушел гулять с Надей. У меня была большая хандра. Я пошла гулять в поле, по путям. Препаршивейшее было настроение. А потом вдруг беспричинная огромная радость, что я есть, я существую, что вокруг меня ярко, солнечно, что у меня впереди до черта всего хорошего. (25.07.69)

В дневнике постоянно встречаемся с попытками описания полноты жизни, энергетической наполненности, счастья движения (в танце, в игре в теннис, в волейбол, в занятиях гимнастикой). Особое место занимает природа, в первую очередь лес: лес – это пространство дикой абсолютной свободы (там надо быть одной).

А потом я наслаждалась лесом. Прыгала в снег, каталась по снегу, бегала, хохотала, пела... Я была переполнена любовью, счастьем и красотой. В лесу никого не было, и никто не слышал моих клятв и песен. (20.11.69)

Довольно большое место занимает описание ситуаций флирта, одной из наиболее практикуемых форм которого для автора дневника является гадание на картах и по руке. В данном контексте это не только популярные среди девочек и девушек магические практики, но и своего рода формы (слабо)эротически окрашенной межполовой коммуникации.

При этом практически не обсуждается, как уже отмечалось, одежда, мода, внешность, даже модели женственности обсуждаются не непосредственно, а скорее в форме «оговорок» или «проговорок»:

она омужичивает себя. Я ведь недавно делала то же самое. Я теперь не так страдаю, что родилась девчонкой, вообще-то важна не форма, а содержание (21.12.68) <...> неужели я такая уродка и дурочка, что никому-никому (нормальному) не нравлюсь. Конечно, ни настоящей женственности, ни

настоящей мальчишести. Неделанная. Вот и сиди. Сама виновата» (8.01.69)
<...> Наташа Ростова – мой антипод. (21.04.69)

Несмотря на то, что идеалом коллективности объявляется «братство», на самом деле в дневнике много говорится о «сестринстве» – об отношениях с сестрами, о сложном процессе обретения подруг и потом о «посестрених» с ними, о девичниках, доверительных разговорах с подружками. Именно опыт общения – прежде всего с подругами-одноклассницами – «гасит» верноподданнический пафос, хотя, конечно, не до конца: записывая, то есть, фиксируя для себя некоторые рассказы о жизненных историях, не совпадающих с ее идеализированными представлениями о социуме, автор дневника скорее стремится отстраниться от них комментирующими словами типа «как это страшно», «словно в грязи вывалили» и т. п.

В данном сообщении я пыталась проанализировать, о чем и как писала в своем дневнике советская девочка в переломные для социализма 68-69 годы (с этого времени, в общем, началась медленная агония строя).

Но, возможно, не менее интересно было бы задаться вопросом о том, что она НЕ записывала. Как отмечает Л. Гинзбург,

всегда возможен и необходим вопрос: какие элементы текущей душевной жизни может и хочет человек закрепить, сформулировать для других и для себя, и что именно он оставляет неоформленным¹³.

Автор практически не пишет о бытовой и материальной стороне жизни, которая в эти годы в Вологде была далеко не благополучной: масло, мясо, колбасу надо было «доставать», выстаивая многочасовые очереди. Очень мало пишет о своих страхах – страхе войны, безумном, доводящем иногда почти до обмороков страхе смерти и небытия (отсюда ужас перед кладбищами, покойниками, похоронами). Не пишет об активно пробуждающейся сексуальности и многих вещах и проблемах с этим связанных, о мистических, магических девичьих практиках (кроме гадания на картах) – толкованиях снов, предчувствиях, суевериях и т.п. Не пишет или почти не пишет об отношениях со взрослыми – учителями и родителями. Отношения с родителями (которые, правда, далеко) изображаются в сентиментально-идеализированных тонах, что далеко от истины.

В дневнике собственный многообразный мир – внешний и внутренний – изображен по преимуществу в той его части, которая может быть предъявлена публичному осмотру. Правда, некоторые «скрытые» от контролирующего взора вещи проговариваются (чаще во втором смысле этого слова – то есть, как неосознанные проговорки в «трещинах» и «разломах» господствующего дискурса). Конечно, с помощью особых аналитических процедур мы их можем более или менее обнаружить, но все-таки это не снимает вопроса – в какой степени вообще можно говорить об

13. Гинзбург, *О психологической прозе*, р. 20.

искренности, свободе самовыражения и неадресованности дневника, о его «правдивости». Не является ли дневник в чем-то более фиктивным текстом, чем текст художественный, fiction-литература, где между автором и протагонистом не предполагается тождества, по условиям жанрового «договора», что в какой-то степени снимает многие табу?

И последнее, что я хотела бы добавить, объясняя, почему я так смело могу строить догадки о том, чего нет в этом дневнике. «Холмогорская» – это моя девичья фамилия, и дневник, о котором шла речь, – это мой собственный дневник, хотя мне самой иногда трудно было в это поверить.

Université Tampere, Finlande

irina.savkina@uta.fi